СТАНИСЛАВ ЯРЖЕМБОВСКИЙ

ПРОРОК И ЕГО ОТЕЧЕСТВО

В русской литературе Солженицын занимает особое место, в некотором смысле его фигура ключевая: он замыкает определенную эпоху в истории русской литературы — эпоху, длившуюся примерно двести лет. В течение всего этого времени литератор в России был больше, чем литератор, на него смотрели как на пророка и учителя жизни — литература считалась силой, активно действовавшей в жизни, способной и созидать и разрушать. Такого мнения придерживались и власти, и публика, и, что особенно удивительно, сами литераторы: В. В. Розанов, например, совершенно серьезно вменял в вину Гоголю, Толстому и Чехову разрушение общественных идеалов, обернувшееся для России катастрофой. Такое гипертрофированно серьезное отношение к литературе давно уже удивляет западных людей, они от всего этого избавились к началу стиля модерн, когда возник новый принцип — «писатель пописывает, читатель почитывает». У нас же литература, кажется, окончательно потеряла эту функцию совсем недавно, буквально на наших глазах. Солженицын, конечно, не последний литератор-моралист, не последний учитель жизни. Эта порода в принципе никогда не переведется. Но он, по-видимому, последний великий литератор-моралист, последний серьезный учитель жизни. Современная литература (имеется в виду литература как искусство, а не как чтиво) к жизни уже не имеет ни малейшего отношения, это просто литературная игра — хотя и священная, но игра, доступная в своих тонкостях лишь очень немногим избранным. Здесь, конечно, возможны весьма высокие достижения. Но своей общественной функции литература уже никогда себе не вернет. По той простой причине, что сами читатели потеряли первозданную невинность, перестали быть наивными, перестали веровать в идеалы.

Солженицын не просто завершает эту художественно-моралистическую традицию русской литературы XIX—XX веков, он как бы замыкает ее в кольцо. Через сто лет после герценовского «Былого и дум» Солженицын пишет «Бодался теленок с дубом». Обе эти вещи, по форме мемуарно-публицистические, по сути являются образцами настоящей художественной прозы. Удивителен не только солженицынский «Теленок», удивительна вообще почти вся его публицистика (если отвлечься от ее содержания) — как по драматизму сюжетной динамики, так и по языку. Солженицыну удалось вдохнуть в уже несколько приувядший ко второй половине XX века русский язык новую энергию, новую упругую сжатость и мощь. Солженицын захватывает, пленяет своей ре-

© Станислав Яржембовский, 2008

чью, даже когда не соглашаешься с ним по существу дела. Его язык — яркий, образный и в то же время необычайно точный — завораживает. Ведь писать одновременно и ярко и точно весьма трудно, литература по сути своей особа довольно-таки болтливая. Вообще говоря, человеческая речь и должна быть достаточно болтливой («избыточной» — по научной терминологии). Подсчитано, что при избыточности меньше тридцати процентов речь становится просто непонятной. Именно поэтому иногда так трудно понимать нынешних технарей: они говорят слишком четко, слишком рационально. По той же причине трудно понимать и писателей-«телеграфистов» 1920-х годов. Однако основная масса литераторов всегда страдала и до сих пор страдает противоположной болезнью — бессмысленной, чудовищной избыточностью. И вот на фоне такой водянистой, уныло-блеклой, тоскливо-бесцветной прозы язык Солженицына был воспринят как чудесное откровение. Иногда Солженицын балансирует на самой грани, так что даже порой хочется упрекнуть его в излишней стилизации, но в целом от его речи оставалось ощущение радостного изумления и благодарности за то, что он дал нам вживе ощутить силу нашего собственного языка. По упругой словесной мощи у него есть только один конкурент — Андрей Платонов, который, впрочем, в своих «Котловане» и «Чевенгуре» как по языку, так и по монументальности образов, остается никем не превзойденным. В одном Солженицын превзошел и Платонова и, наверное, всех остальных. Он тот редкий писатель, вершина творчества которого оказалась не в его художественных (нет подходящего русского слова, соответствующего английскому «fiction» и немецкому «Dichtung», означающим одновременно и художественное творение и вымысел) произведениях, а, как правило, в следующей за ними публицистике. Даже Льву Толстому это не удалось, хотя он и очень старался. Не удалось это и Достоевскому в его «Дневнике писателя», хотя он, похоже, старался не очень. Феномен Солженицына хорошо укладывается в культурологическую схему Шпенглера: на стадии упадка культуры центр тяжести творчества в литературе неизбежно перемещается в публицистику — точно так же, как, например, в музыке самоцелью в эту эпоху становится исполнительство, а не само музыкальное творчество. Солженицын — последний классический писатель земли русской, возможно, он уже стал родоначальником новой нашей литературы — именно публицистики как художественной литературы. Это первая его заслуга. Вторая его заслуга — как свидетеля эпохи.

Человеческая история создается, когда она осмысливается. Не изображается, а именно создается — из хаоса, из бесконечного разнообразия своих виртуальных структур. Пока эпоха жива — она противоречива и непонятна. Лишь когда она приходит к своему концу, она может оказаться зафиксированной каким-нибудь свидетелем. Но для того чтобы эпоха оказалась явным образом включенной в содержание последующих эпох, она должна быть запечатленной достаточно талантливым, может быть, даже только гениальным свидетелем. Трудно убедить кого-то фактами, когда нет единства в том, что считать фактом, а что — вымыслом. Нужна эмоциональная основа для фактографического ряда, нужно суметь «заразить» читателя своим личным отношением к изображаемым событиям, сделать его своим единомышленником — только тогда он поверит тебе безоговорочно; только тогда факты из твоего ряда он будет считать настоящими фактами, а факты противоположного ряда — артефактами. Если такого гениального свидетеля не найдется, эпоха может просто кануть в небытие и оказаться безвозвратно утерянной. Такая ситуация показана, например, в романе Маркеса «Сто лет одиночества». И такое могло произойти реально и в отношении ГУЛАГа. Если бы не Солженицын, вполне могло бы случиться, что все наши знания об этом жутком архипелаге оказались бы разноголосицей «страшных» легенд. Свидетельств могло быть количественно очень много,

но количество не переросло бы в качество, ибо каждое из них звучало бы весьма сомнительно — мало ли что понарасскажут люди, которым довелось хлебнуть лиха! Здоровый человеческий скептицизм и естественное отталкивание от всего страшного наверняка победили бы. Солженицын написал так, что все поверили сразу. А поверив ему, поверили и остальным многочисленным свидетелям. Когда мы, таясь ото всех, пугаясь каждого звонка в дверь, впервые читали эту книгу, нам казалось: если вот прямо сейчас ее прочтут все одновременно, то мгновенно рухнут устои нашей жизни и все сразу изменится. Невозможно было читать эту книгу и не плакать, она была как прикосновение к открытой ране, она была вулканом, который обжигал и испепелял. От таких книг меняется структура сознания, меняется сама душа.

И здесь вторая его великая заслуга смыкается с третьей — как учителя жизни. Он выдвинул лозунг «жить не по лжи», ставший для многих откровением. Все как-то привыкли жить по привычной лжи, принимать правила игры, навязанные властью, в качестве естественных и непреложных законов социального поведения. Разумеется, и до Солженицына все прекрасно видели окружавшую нас ложь, для этого не надо было большого ума, ложью было пропитано все вокруг. Но большинству все же казалось хорошим тоном оказывать этой лжи знаки внешнего уважения, одновременно с наслаждением показывая ей фигу в кармане. Власть об этом, конечно же, прекрасно знала, но на том этапе ее это вполне устраивало: все видели, что король гол, но поскольку никто не осмеливался об этом сказать вслух, то он был как бы и достаточно прилично одет. Своей собственной силы у власти уже не было, она держалась силой инерции — не самим даже страхом, а лишь инерцией страха. И призыв «жить не по лжи» в конце концов сработал. Солженицын преподал нам урок гражданского мужества, который был усвоен многими. Разумеется, не он один изменил наше сознание. Были и до него и одновременно с ним мужественные, героические личности. Но не было рядом с ним такого, кто был бы к тому же столь же талантлив. Ведь сама наша интеллектуальная элита была некогда покорена его литературным даром: не будь он столь талантлив, никто бы не воспринял его идей.

Однако как социальный пророк, обличающий пороки современного ему общества, и как социальный реформатор, предлагавший этому обществу пути обновления, Солженицын оказался фигурой весьма спорной. Дело в том, что он весь был обращен не в будущее, а в прошлое. Для него будущее было прошлым, восстановленным в своей первоначальной чистоте. Он был типичным реакционером, или, говоря современным языком, фундаменталистом, он категорически отказывался принимать реалии современности. Националистом — не вульгарно «дремучим», а идейным, отождествлявшим себя не с эмпирически существующей в данный момент нацией, а с нацией как идеей. Однако наций в своем первозданно чистом виде, по крайней мере в Европе, давно уже не существует. Высокое искусство было общим для всех европейцев уже в XVIII и XIX веках, а ныне и поп-искусство, то есть искусство для миллионов, стало тоже полностью интернациональным. Наука и техника были интернациональными с момента их появления, а сейчас таковой становится и экономика. Люди самой разной национальной принадлежности теряют свою исконную самобытность, обретая общий стиль повседневной жизни. Фактически, если нас что-то и выделяет из этой более или менее однородной смеси, так это только язык. Как проницательно заметил В. Гумбольдт, «настоящая родина — это язык». Все остальное у нас уже (увы) «общечеловеческое». Может быть, это и плохо, но такова неизбежная тенденция. Это стихия, с которой не поспоришь, потому что это стихия самой жизни. Язык же — последний рубеж нашей национальной идентичности, сдавать который нельзя, потому что за ним уже даже не «Москва», а пустота.

Своим творчеством Солженицын внес огромный вклад в защиту этого рубежа. Жаль только, что значительную часть своего дара он растратил на борьбу с ветряными мельницами. Тот, кто хочет противостоять природному процессу унификации, вынужден стать изоляционистом, пытающимся отгородиться от разлагающего влияния соседей по планете железным занавесом — для того чтобы остановить, по образному выражению Солженицына, «подтекающую снизу навозную жижу». Однако идея национальной изоляции в наше время совершенно утопична. Призыв к самососредоточению, к возврату к своим национальным корням, к своим утерянным культурным, экономическим, государственным, духовным и религиозным ценностям — ценой выпадения из общемирового экономического процесса — совершенно нереалистичен. Солженицын напрочь отказывался принять элементарно простой факт, который понятен, кажется, уже всем: для экономического подъема страны нужен не возврат к своим национальным корням, а решительная интеграция в мировой экономический процесс. Мировая экономика — это могучая волна, которая подхватывает и несет того, кто сумеет ее оседлать. Тот, кто барахтается на отшибе в одиночку, не имеет никаких шансов. Не изоляция в вымышленной утопии нам нужна, а интеграция в естественном порядке жизни. Иначе — пока мы будем собственным проселочным путем трястись в своей самодельной телеге жизни — настоящая жизнь, шурша колесами по главной магистрали мировой цивилизации, промчится мимо.

Идейный, сознательный националист всегда будет в своем мировоззрении манихейцем. Гностическая секта манихеев была в свое время уничтожена как организация, но ее идеология продолжает жить в сознании миллионов людей, никогда о манихействе и не слыхавших. Это люди, совершенно искреннее, глубоко внутренне убежденные, что добро и зло в мире четко разграничены друг от друга; что зло наряду с добром является активно действующей силой в мире и что оно сосредоточено в конкретных людях; что наряду с «империей добра» существует на свете «империя зла», а наряду с «хорошими» людьми существуют «плохие». Плохих же людей, как полагала девочка Настя из платоновского «Котлована», «надо всех убивать, потому что хороших очень мало». Манихей никогда не признает, что его идейный противник действует, исходя из благородных побуждений, он искренне убежден, что тот может действовать, исходя только из побуждений самых низменных. Всякий противник либо дурак, либо негодяй, поскольку благородство и искренность — прерогативы исключительно его, манихея. Солженицын был фанатично предан охватившей его идее, он не был способен даже на минуту хотя бы условно абстрагироваться, отвлечься от нее, чтобы трезво рассмотреть доводы оппонента. Он не был уравновешенным мудрецом, он был яростным бойцом. У него не было ни капли здорового прагматизма, он не считал окружавшую его реальность верховным судьей тех или иных воззрений. Такая твердость может вызвать уважение и даже восхищение, но реального толку от нее мало.

Героичность натуры Солженицына определила его мировоззрение «сильной личности». Это мировоззрение реформатора, «социального инженера», осознавшего свое призвание дать верное направление той стихийной жизни, которая течет сама собою, бессмысленно и бестолково под его ногами. Может быть, главная опасность для социальной жизни состоит как раз в навязывании ей взглядов «великих людей». Благодетелей своих человечество должно страшиться больше, чем своих врагов. Как гласит китайская поговорка, «великий человек подобен стихийному бедствию». Китайской поговорке вторит русская, не менее глубокая: «На всякого мудреца довольно простоты». Солженицын, по образному выражению Александра Зиновьева, целился в советскую власть, а попадал все время в Россию. Помимо своей воли он в огромной степени

способствовал созданию негативного образа России, навесив на Россию ярлык кровавой гэбэшной тирании, создав бренд «империя зла». Та беспощадная критика тоталитарной советской системы, посредством которой Солженицын хотел способствовать самоочищению страны, обернулась для России катастрофическим падением ее престижа на мировой арене — и эта мина замедленного действия сработала (точнее, была приведена в действие) именно тогда, когда Россия на самом деле стала становиться — впервые за всю свою историю — демократической страной. Более того, эта мина, может быть, еще и не взорвалась по-настоящему. По мере того как Россия постепенно поднимается из праха унижения 1990-х годов, все более усиливается западный хор негодования. Такой даже не критики, а просто-напросто оголтелого шельмования со стороны Запада Россия не удостаивалась ни в царское, ни в сталинское, ни в брежневское время. И это еще не предел: на наших глазах дело идет к тому, что, основываясь на совершенно бредовых оценках погибших в ГУЛАГе (с подачи Солженицына, вбившего в западное сознание совершенно фантастическую цифру: более шестидесяти миллионов), «демократический» Запад вот-вот официально объявит советский коммунизм большим злом, чем немецкий национал-социализм, — со всеми вытекающими отсюда последствиями.

За время своего вермонтского заточения Солженицын катастрофически отстал от российской жизни. Это стало очевидным уже из того, что, вернувшись на родину, он так и не нашел поддержки своим идеям ни в одной общественной группе. При этом он почти не скрывал, что и сам весьма недоволен своим народом, не сумевшим дорасти до его идей. Финал этого великого человека печален: своим монументальным историческим исследованием «Красное колесо» он хотел открыть глаза человечеству, однако к моменту своего завершения колесо это оказалось никому не нужным и, скорее всего, не нужно будет никогда. И не в силу тенденциозности или недостаточной научной строгости, а просто потому, что исследованная им эпоха никогда никому не преподаст никакого урока. История ничему не учит, потому что она никогда не повторяется, все ее зигзаги абсолютно непредсказуемы и неожиданны. Как говорил Марк Твен, «история не повторяется, в лучшем случае она рифмуется». При этом «исторический Стихотворец» невероятно изобретателен, и никогда не догадаешься заранее, с каким новым событием срифмуется то событие, которое только что произошло на наших глазах. Так что для прогностических целей история совершенно бесполезна.

Но даже потерпев фиаско в своем историческом исследовании, Солженицын успел сделать — и своим (пусть противоречивым) творчеством и своей (пусть противоречивой) жизнью — так много, что сам он навсегда останется частью нашей истории.